



Мрачно и уныло в моей тридцатифранковой комнатухе с «видом» на узкий, как кишка, двор, где над кучей мусора торчит голубятня. Оттуда доносится непрерывное, раздражающее меня воркование.

Я только и слышу, что эту надоедливую музыку да рыдания женщины, занимающей рядом со мной темный чуланчик, за который она никак не может заплатить хозяйке. И она все плачет, эта седая учительница... Она нигде не может устроиться и напрасно ищет уроков по десять су.

Несчастливая! Как-то вечером я видел, как она за ту же цену предлагала свои старушечьи ласки служителям госпиталя Валь-де-Грас и приоткрывала кофточку, чтобы дать потрогать свою грудь.

Я хотел бы выбраться отсюда: мне кажется, что проникающий сквозь перегородку воздух отравляет мою мысль.

Но я вынужден остаться и даже не помышлять о перемене квартиры, иначе пропадут деньги, внесенные за две недели. Я регламентировал свою жизнь, – моя расходная книга здесь, рядом с книгой воспоминаний, – и бюджет мой незыблем. Мне остается только склониться над бумагой и заткнуть уши ватой, чтобы не слышать горьких всхлипываний старой учительницы и нежного воркования горлинок.

Одна из них часто прилетает на окно моей соседки за хлебом, накрошенным руками этой несчастной, – руками, сохранившими еще запах потных ласк санитаров...

В коллеже голубь был для нас птицей, которая олицетворяет собой наслаждение и гордо восседает на плече богини или поэта. Здесь же он охорашивается под окном потаскушки и точит свой клюв о ее окно. *Gemuere palumbae*[12].

Я встаю в шесть часов утра, укутываю ноги остатками своего пальто, – с пола несет холодом, – и пишу до момента ухода в мэрию.

С пяти часов я снова за работой, но не позже как до восьми. Мне страшно оставаться вечером в этой конуре на улице Сен-Жак, недалеко от перекрестка, где прежде действовала гильотина, поблизости от военного госпиталя, почти рядом с приютом для глухонемых. Поистине невеселое окружение!

«Зато, став у окна, ты можешь видеть Пантеон, где будешь покоиться, если станешь знаменитостью», – насмешливо заметил Арну, пришедший как-то навестить меня.

Я не думаю о Пантеоне, не мечтаю стать знаменитостью, не стремлюсь к бессмертию после смерти, – я хочу жить, пока я жив!

Мне как будто начинает удаваться это, но мой жизненный путь еще достаточно непригляден и печален.

Соседка моя обнаглела. Она напивается, приводит к себе мужчин, и они пьют вместе с ней.

Как-то раз один из этих пьяниц отказался заплатить и хотел избить ее; она стала звать на помощь.

Я прибежал и отдернул руку пьяницы, – он уже схватил нож, лежащий на тарелке с сыром, и собирался всадить его женщине в живот. Я вытолкнул его за дверь и запер ее за ним. Больше четверти часа он ломился в нее, крича: «Выходи, каналья!»

Учительницу, конечно, выгнали, хотя, как сказала с некоторым сожалением хозяйка: «Она хорошо платила последние две недели». Теперь одни только голуби милуются и оставляют следы перед моим окном, не находя больше крошек на окне соседки.

Работа моя, однако, почти не подвигается: в комнате у меня стужа, а чтобы разжечь кучу каменного угля, приходится тратить много времени. Стуча зубами, я жгу спичку за спичкой, и, если наконец отваживаюсь сесть за стол, так и не растопив камина, мало-помалу дрожь охватывает меня с ног до головы и мысли улетучиваются.

После долгих раздумий я отправился в библиотеку св. Женевьевы поискать в книгах указаний на способы растопки, избавившие бы меня по утрам от длительного стояния босиком, в одной рубашке, перед камином, полным дыма, а не огня.

Но я сел на мель, а между тем дует северный ветер. Вот уже больше недели, как я не работаю, – разве только делаю заметки карандашом, чуть-чуть высунув пальцы из-под одеяла.

Я было попробовал писать в библиотеке. Но если дома я страдал от холода, то там изнывал от жары. В этой удушливой, влажной атмосфере мои мысли размягчаются и обесцвечиваются, как кусок мяса в кипящем котелке, и я начинаю дремать, склонившись над чистым листом бумаги. Сторож бесцеремонно будит меня.

Неужели я не одолею моей книги до весны?

Так нет же, нет! Лучше оказаться несостоятельным должником...

Я только что вышел из магазина Дюламон и К°, где за меня поручился бывший коллега моего отца, обучающий детей латыни.

Мы заключили сделку на халат из монастырского драпа, длинный, с капюшоном и шнуром. Мне вручат его через неделю при уплате половины его стоимости; вторая половина должна быть внесена в конце следующего месяца. Всего: шестьдесят франков.

До получения халата я слоняюсь, ничего не делаю.

Наконец он готов.

- Получите ваши тридцать франков!

Посыльный сует их в карман и исчезает, а я немедленно облачаюсь в мою шерстяную рясу.

Ты, мастер, скроивший ее, и ты, купец, продавший мне ее, вы даже не подозреваете, что вы сделали! Вы дали будку часовому армии – той армии, что вам еще покажет себя!

Если б не эта хламида, я, быть может, отступил бы перед черной пастью нетопленного камина, сбежал из моей ледяной конуры, махнул на все рукой – не написал бы своей книги.

Срок платежа приближается. Он назначен на тридцатое, а сегодня уже двадцать второе.

Воспользовавшись тем, что было воскресенье и не нужно было идти в мэрию, я решил закончить работу и переписать ее.

Скорей! Перечитываю еще раз... Ножницы, булавки!.. Вычеркнуть здесь, прибавить там!

Я исчеркал всю рукопись. Отдельные отрывки напоминали черные повязки на глазу или синяки на теле. Я обрезался ножницами, искололся булавками. Капельки крови забрызгали страницы. Эту рукопись положительно можно было принять за воспоминания какого-то убийцы-тряпичника.

Но ведь купец не станет ждать. Он явится ко мне в мэрию, предъявит мою расписку, поднимет шум, и меня уволят. Я теперь чиновник и должен относиться с уважением к своей подписи, дабы не компрометировать правительство; ведь не затем платит оно мне 1500 франков в год, чтобы я жил, как нищий.

Три часа. Звонят к вечерне. В доме тишина, – слышен только кашель чахоточного, выплевывающего остатки последнего легкого.

Как ужасно быть безвестным, бедным и одиноким!

Четверть, половина четвертого!

Я закрыл глаза рукой, чтобы не заплакать. Впрочем, нет, теперь не время распускать нюни. А мой долг?

Необходимо попасть к главному редактору «Фигаро», проникнуть к нему в квартиру. В течение недели его невозможно поймать ни в редакции, ни при выходе из нее, да, кроме того, не очень-то охотно выслушивают в таких местах незнакомых людей.

Но примет ли он меня? Ведь сегодня день его отдыха. Говорят, он очень любит своих детей, а потому, естественно, хочет спокойно забавляться с ними и не потерпит, чтобы ему надоедали в его свободное время.

Э, тем хуже!

Как дрожат мои ноги, пока я поднимаюсь по лестнице.

Звоню.

– Могу я видеть господина Вильмессана?[13]

– Его нет. Он уехал за город и вернется не раньше, как недели через две.

Уехал!.. Но тогда я пропал!

Горничная, очевидно, прочла отчаяние на моем лице.

К тому же она видит кончик свернутой трубочкой смятой рукописи, которая словно корчится от мук в глубине моего кармана.

Она не захлопывает у меня перед носом дверь и наконец решается сказать, что вместо Вильмессана дома его зять и что, если я назову себя, она доложит обо мне и даже передаст то, что я принес.

Говоря это, она указывает глазами на мою рукопись, скрепленную булавками, торчащими, как иглы у ежа. Я вытаскиваю сверток и подаю его так, чтобы она не укололась. Горничная сочувственно улыбается и уходит, держа сверток в вытянутой руке.

Меня оставляют одного по крайней мере на четверть часа. Наконец дверь открывается.

– А ваша рукопись здорово кусается, сударь, – говорит лысый толстяк, потряхивая толстыми, как сосиски, пальцами.

Я бормочу извинения.

– Ничего! Я видел заглавие, прочитал несколько строчек, – публику это тоже укусит! Мы напечатаем ваш очерк, молодой человек! Но придется немного подождать, – это чертовски длинно!

Подождать? Право же, я никак не могу ждать.

– Я должен завтра же, – объясняю я ему, – уплатить карточный долг, вот почему я и осмелился прийти прямо сюда...

– Э, э! Так вы заигрываете с дамой пик? Прикупаете к пяти?

Я понятия не имею, что значит «прикупать к пяти», но надо же что-нибудь ответить, и я глухо изрекаю:

– Да, милостивый государь, прикупаю к пяти!

– Черт возьми! Ну, и аппетит у вас!

Огромный. Я часто замечал это, особенно в те дни, когда приходилось голодать.

– Вот записка к кассиру. Предъявите ее завтра, и вам выдадут сто франков. Это – высокая цена, но ваша статья с огоньком. До свидания!

С огоньком?.. Очень может быть!

Я не старался, чтобы, как это учат в Сорбонне, то, что я писал, походило на труды Паскаля или Мармонтеля, Ювенала или Поля-Луи Курье, Сен-Симона или Сент-Бёва; я не церемонился с образными выражениями, не боялся неологизмов, не соблюдал несторианского порядка, приводя доказательства.

Я взял куски моей жизни и сшил их с кусками жизни других людей. Смеялся, когда мне было смешно, скрежетал зубами, когда воспоминания об унижениях точно соскабливали мясо с моих костей... так соскабливают мякоть с косточки отбивной котлеты, и кровь тихо сочится из-под ножа.

Зато я спас честь целого батальона молодых людей, прочитавших «Сцены из жизни богемы» и поверивших в это розовое беспечное существование. Я громко бросил правду в лицо этим жертвам обмана.

И если они все-таки захотят отведать этой жизни, значит они только на то и годны, чтобы быть завсегдатаями кабаков да дичью для Мазаса. К тридцати годам, доведенные до отчаяния, они кончат жизнь самоубийством или безумием, попадут в лапы больничной сиделки или тюремного сторожа и либо умрут раньше времени, либо в свое время покروют

